2207

Валерий ДЕМЕНТЬЕВ

Новеллы о Сергее Орлове

Мой лейтенант

Безвестная песня

В декабре сорок первого года колесо фортуны сделало резкий, неожиданный поворот: сержант-танкист Сергей Орлов был направлен в глубокий тыл, в город Челябинск, на краткосрочные курсы командного состава. Выбор этот нельзя признать совсем случайным, поскольку Орлов в своей части был уже «старослужащим»... Путь с Ленинградского фронта на восток пролегал через Череповец, от которого до Белозерска всего сто двадцать километров. И вот здесь-то проявилась удивительная любовь молодого танкиста к родному дому, семье, матери. Вопреки трудностям военного времени он добился телефонного вызова Белозерска, мало того, он добился вызова матери, Екатерины Яковлевны. И хотя из-за помех и дальнего расстояния Сергей успел сказать несколько слов, но эти слова так неожиданно прозвучали в телефонной трубке, что Екатерина Яковлевна сохранила их на всю жизнь. Да и для Сергея Орлова этот разговор, оборвавшийся на полуфразе, стал сильным эмоциональным толчком для новых стихотворений.

И в теплушке, в которой свободно гуляли сквозняки, Орлов записывал в блокнот только что продуманные строки:

Через края сосновых станций,
Спокойных рек, седых берез
Невидимую нить пространства
Мотал локтями паровоз,

Чтоб на безвестном перегоне,
Где дали синие легли,
Встал семафор на снежном склоне,
Урал открыв из-под руки.

В Челябинске Орлов был сразу же зачислен в 30-й запасной танковый полк. Но уже 22 февраля ему было присвоено воинское звание «лейтенант».

О дальнейшем пребывании Сергея Орлова в Челябинске или, может быть, в его окрестностях сведения отрывочны и скупы. Например, Василий Субботин, проходивший службу в том же 30-м запасном полку, спавший, может быть, на тех же самых нарах, что и его предшественник, не может с уверенностью сказать, что видел в казармах Сергея Орлова. К счастью, Александр Гольдберг, в то время сотрудник заводской многотиражки и руководитель Челябинской писательской организации, знал Орлова в этот период. Раза два-три его видели в местной организации писателей, причем молодой лейтенант с новенькими «кубарями» и танкистскими эмблемами в петлицах держал себя более чем скромно, стихов не читал и ничего не рассказывал о себе; он день и ночь был занят по службе. Теперь-то известно, что именно в Челябинск был эвакуирован ленинградский Кировский завод, который в дни войны освоил производство тяжелых танков «КВ». Здесь, в Челябинске, проходила обкатка новых машин, их доводка, проводились учебные стрельбы, формировались танковые экипажи. Вероятно, Сергей Орлов был занят учебной подготовкой этих танковых экипажей.

Однажды, чтобы добиться его участия в каком-то литературном вечере, пришлось из Союза писателей отправлять бумагу вышестоящему начальству. Но ответа так и не поступило. Правда, именно здесь, в Челябинске, Сергей Орлов совместно с другим молодым литератором — Сергеем Тельковым сумел-таки издать небольшую книжечку стихов, озаглавленную по традиции тех лет просто — «Фронт». И хотя у Орлова сохранился единственный экземпляр этой книжицы, о ее существовании он крайне редко упоминал.

Вообще, что касается фактов личной биографии, Орлов часто проявлял исключительную сдержанность, если не сказать — замкнутость. Он не умел и не любил рассказывать про свою жизнь так, как об этом рассказывают многие: воодушевляясь все больше и больше. Он не вел дневников, почти не писал писем, а предпочитал телефон, в какой бы точке страны ни находился.

И все-таки в конце сорок второго года Екатерина Яковлевна в далеком, засыпанном снегами Белозерске получила от него письмецо: буквально в двух строчках он сообщал матери, что встретил Гуньку Шарова, который вскоре должен выехать в сторону Череповца и Волховстроя. Екатерина Яковлевна все поняла: это Сергей получил назначение на Волховский фронт. Ведь только она знала, что Гунькой Шаровым — по фамилии отчима, Ивана Дмитриевича, — звали ее Сереженьку в родной Мегре.

«Полк сгружался на станции Назия. Станции не было, от нее осталась только коробка водонапорной башни. Все здесь было разбито и сожжено и засыпано за зиму белым снегом. Поодаль и вокруг стояли высокие оранжевые сосны с побитыми кронами; в сиреневом рассветном небе кружилась немецкая «рама», разглядывая сверху, как сгружался полк...»

Это отрывок из автобиографической прозы Сергея Орлова, которую он начал в 1972 году, но которую не закончил, исписав всего несколько страниц... А жаль! Беглая — без помарок — запись удивительно зримо передает и атмосферу, и обстановку столь памятного ему утра: легкий морозец, дым костров, на которых танкисты разогревали воду и масло, удары кувалд, грохот дизельных моторов...

Итак, полк сгружался в торец, иначе говоря, танки сходили с последней платформы на полотно, на котором рельсов уже не было. Ибо здесь, на станции Назия, дорога на Ленинград, идущая с востока тысячи километров, кончалась... Дальше пути не было, дальше был тот огненный рубеж, который рассек всю страну от моря и до моря.

Многотонные машины, сойдя с последней платформы, разворачивались на невысокой насыпи, ныряли с нее и с фырканьем уходили в лес. Они выстраивались там на лесной дороге в колонну для марша... Теперь-то особенно важен этот рассказ о трудном ремесле, о мастерстве танкистов, которое за время пребывания в Челябинске постигал и Сергей Орлов. Да, именно здесь, на станции Назия, требовались самообладание и немалое искусство, чтобы спустить свою громаду на насыпь.

«...Механики в открытые люки следили только за командиром машины, как оркестранты за дирижером, и осторожно вели танки по платформам состава, повинуясь движениям командирских рук... Нет, не просто спустить машину на землю; гусеницы кладут траки по ободьям платформы: чуть вправо, чуть влево — и пятидесятитонная машина грохнется с нее. Командиры идут, пятясь спиной, и смотрят только на гусеницы; ладонями рук они легонько прессуют воздух то правой, то левой или же манят вместе разом, на себя так, как манят на себя маленьких детей, учащихся ходить...»

Орлов делает паузу и заключает абзац: «Утро мартовское, морозное, солнечное. Наст золотистый... Корочка хрустит под валенками. Но воздух пропитан полотнищами выхлопных газов и поэтому горчит...»

А может быть, воздух горчил еще и тогда, когда Орлов писал эти строки в сосновом бору под Москвой, на станции Заветы Ильича, а не только тогда, когда он, молоденький лейтенант в ребристом танкистском шлеме и добротном полушубке, перетянутом офицерской портупеей, легонько прессовал воздух и манил на себя грозную и одновременно беспомощную машину. Ведь танковые траки, которые так осторожно ложились на края платформы, должны были вскоре ложиться на жердевой настил, кое-как заваленный

Сергей Сергеевич ОРЛОВ.

ветками, засыпанный снегом. Одно неверное движение — танк грузно оседал в болотную топь, широко раскинувшуюся вокруг настила, не замерзавшую даже в лютые морозы. Вот почему прав был Сергей Орлов, сказавший в одной автобиографической заметке, что «воевать приходилось не только с немцами, но и с болотом».

Болота на Волховском фронте были проклятьем и для пехоты, и для артиллерии, но сущим проклятьем и сущей бедой они были все-таки для танкистов, которые здесь, в топком мелколесье, теряли многие боевые качества своих машин — и маневренность, и скорость, и внезапность огневого удара. Вот почему уже на подступах к передовой они несли потери.

Однако в то памятное утро, бодрящее крепким морозцем, дымом костров и походных кухонь, а главное — ощущением близости настоящего дела, а не надоевших сверх всякой меры учений и стрельб на танкодроме, Орлов был под впечатлением пути сюда, на станцию Назия, в расположение 8-й армии, в которую и вошел их танковый полк. Поскрипывая валенками по мартовскому снегу, он все еще переживал огромные пространства, которые одолел их воинский эшелон и которые явились для него конкретным воплощением могущества и силы России.

«...Позади остались тысячи километров пути, — записывал он в блокноте семьдесят второго года, — с Урала через всю Россию, с бешеной скоростью, с остановками эшелона только для смены паровозов: горячий обед подвозился на лошаденках прямо к теплушкам — десять минут, и вся раздача закончена... В теплушках полыхали жаром раскаленные добела железные печки и звенела песня:

Прощай, страна, прощай,
моя любимая.
Стучат колеса, мчится эшелон.
А я сижу и вспоминаю,
где же улица родимая,
Где же этот переулочек и дом...»

«Где же, действительно, этот переулочек и дом?» — думал Сергей Орлов, вновь охваченный мучительно-отрадной силой воспоминаний, как бы перевоплотившийся в двадцатидвухлетнего лейтенанта, что присел на топчан возле этой раскаленной до белого жара печурки, в которой так яростно гудел и метался огонь.

«Где же, действительно, этот переулочек и дом? — вновь переспрашивал он себя и отвечал самому себе: — У кого как... У кого и не было известно, целы ли этот дом и этот переулочек там, на оккупированной земле, за линией фронта... Тем горше заливалась гармонь: «Прощай, моя любимая...»

«Да и любимые-то у всех ли были? — раздумывал далее Орлов. — Ведь еще не успели обзавестись ими, объясниться в любви девушкам, как вот она грянула и пошла на тысячи верст и сотни дней.

Приказ был ясен — явиться в час назначенный,
И вот на запад мчится эшелон,

— пелось в этой песне, неизвестно кем написанной и кем впервые запетой. Но пели ее в эшелоне чаще других песен...»

Этот прозаический отрывок из большой вещи, задуманной Орловым, так и остался бы отрывком, если бы не заключительная фраза... Но сейчас мне хочется отметить, что в блокноте-72 вслед за прозой шла черновая строфа какого-то стихотворения:

Меняется движение светил,
И предстает в ином и новом свете
Во что ты верил, то, что ты любил,
Что видел ты и что ты не заметил.

Что это — странный скачок мысли художника, его своеволие, его разбросанность?.. Или между фронтовой прозой и этими стихами есть какая-то внутренняя связь, есть нечто, незримо объединяющее и то и другое? Мне кажется, второе предположение вернее: если даже светила меняют свой бег, если все сущее предстает в новом свете, то — «осталось измениться самому...». Не так ли?.. Однако в той грандиозной плавильне, которую мы называем Природой и в которой «наотмашь тьма и пламя наотрез», человек — это «довольно древнее явленье».

Миллионы лет он шел путем чудес — «от гибели до чуда воскрешенья...». И все-таки остался человеком. И поэтому в чем-то основном лирический герой стихов хочет быть неизменным, твердым, как та библейская глина, которая была закалена огнем и пламенем великих светопреставлений!..

И вновь возвращается Орлов к автобиографической прозе, погружается в стихию песни, сочиненной безвестным автором, но петой чаще всех других. «...Звучала она в общем хоре весело, с лихостью, как будто на празднике каком, а думы думались при этом разные, не такие уж лихие и развеселые, — у каждого свои, но общие, так же, как песня: они-то и были главной музыкой в ней, беззвучной, но определявшей все».

Именно эту «главную музыку» и хотел страстно запомнить и выразить в стихах гвардии лейтенант Орлов. Его тяжелый танк уже занял свое место в колонне, уже скрывался в заснеженном лесу, исчезал из вида, чтобы стать легендарным...

«Мой предок Федор...»

В начале мая 1970 года Сергей Орлов, переехавший в ту пору в Москву и работавший на штатной должности секретаря правления Союза писателей Российской Федерации, был вынужден срочно выехать в Ленинград. Скончалась Надежда Николаевна Орлова, одна из четырех его тетушек, живших на Крюковом канале. Именно в их старой ленинградской квартире поэт нашел себе приют в самый сложный и трудный период своей жизни — осенью 1945 года.

На Крюковом канале паутина
Осеннего прозрачного ледка,
И небо опрокинулось на спину,
В канале утопило облака.

Земля бела, в снегу идут трамваи,
Снежинок голубая кутерьма...
И за пять лет впервые наступает
Простая, невоенная зима.

С тех пор прошло четверть века. И на поминках старшая из сестер, Антонина Николаевна, сказала Орлову: «Гуня, — так тетки звали племянника с детских лет, — а в нашем роде Орловых были и раньше храбрые воины. Твой прапрадед — уланский полковник Федор Федорович Орлов, — принимал участие в Бородинском сражении, потом был тяжело ранен и за личную храбрость удостоился Георгия...» На вопрос Орлова, почему же раньше ему об этом не сказали, Антонина Николаевна уклончиво ответила: «Ну, знаешь, раньше и время было другое».

К сожалению, во время блокады у сестер Орловых сгорели все документы, сгорел и портрет Ф. Ф. Орлова, на которого, по их словам, был удивительно похож Сережа Орлов. Вот по-

чему лишь в качестве семейного предания могла Антонина Николаевна рассказывать о рыжебородом предке — герое Бородина и Бауцена.

Известие сильно взволновало поэта. «Я обязательно напишу об этом, может быть, даже в прозе»,— сказал он жене, вернувшись с Крюкова канала. А вскоре произошло нечто совсем неожиданное.

«Однажды, засидевшись в доме художника Андрея Мыльникова за долгим чаепитием,— писала мне Виолетта Степановна Орлова в декабре 1979 года,— Сергей затеял любимое со студенческих лет гадание «по книге». Смысл этого гадания заключался в том, что Сергей брал первый попавшийся фолиант, раскрывал его и, не раздумывая, отмечал абзац или строфу стихотворения. По чистой случайности ему попалась книга В. В. Вересаева «Пушкин в жизни». В Ленинграде тогда стояли белые ночи. Но даже в полумраке было видно, как внезапно побледнел Сергей. Он открыл страницу, на которой И. П. Липранди рассказывал о ссоре уланского полковника Федора Федоровича Орлова с Александром Сергеевичем Пушкиным и о дуэли, едва не случившейся между ними. «Вот это да-а-а,— протянул Сергей.— А ведь предок мой едва не стал Дантесом. Этого еще не хватало!»

Однако необычная биография уланского полковника все больше и больше занимала его. Как-то в доме С. С. Наровчатова он разыскал подробности кровопролитного сражения под Бауценом, случившегося 20 и 21 мая 1813 года, где Федор Федорович командовал полком и где он был тяжело ранен: лекари отняли ему ногу, раздробленную ядром.

Чтобы дать понятие о храбрости этого уланского полковника, заслужившего солдатского Георгия, что делалось в исключительных случаях, требуется небольшое отступление.

Битва при Бауцене была одной из самых кровопролитных во всей кампании 1813 года, которая, как известно, вошла в историю невиданными прежде масштабами сражений, количеством орудийных стволов и выпущенных по противнику ядер. Сражения при Лютцене, Бауцене, Дрездене, Кульме и, наконец, «битва народов» при Лейпциге — вот что такое эпопея 1813 года!..

К сожалению, Орлов не успел написать о Федоре Федоровиче ни в стихах, ни в прозе. Правда, среди черновиков В. С. Орлова нашла, например, такое:

Последняя мазурка, и на годы
С любимой обрывается роман.
Французы жгут Москву.
Мой предок Федор
Уланский надевает доломан.

Вслед за этим должны были идти строфы, мгновенно переносившие нас во времена «второго» Бородино — в сорок первый год:

И сразу «мессера» над головою,
Трещал прошитый пулями большак,
Гудериана танки под Москвою,
Ростов оставлен, к Волге рвется враг.

Шли эшелоны в зареве багровом.
И где сходились небо и вода:
«Да где же это поле Куликово?» —
Звучало вновь, как в древние года.

Черновая строфа из стихотворения «Белое озеро» — пока что единственное упоминание Сергея Орлова о своем прапрадеде.

Естественно, что и я первым делом обратился к В. В. Вересаеву. И вот что вычитал у него. О личности Ф. Ф. Орлова наиболее развернуто пишет В. П. Горчаков. Когда он впервые встретил гвардии полковника, тот произвел на него неизгладимое впечатление: «Я смотрел на Орлова, как на что-то сказочное: то он напоминал мне бояр времен Петра, то древних русских витязей; а его Георгиевский крест, взятый с боя с потерею ноги по колено, невольно вселяли уважение». Однако мемуарист не мог не заметить в Орлове «странного сочетания умилительной скромности с самой разгульной удалью боевой его жизни».

Что же касается ссоры Ф. Ф. Орлова с Пушкиным, которая, по одним сведениям, произошла в биллиардной Гольды, по другим — в биллиардной кофейни Фукса, то здесь мемуаристы расходятся в изложении событий. Липранди утверждает, что ссора произошла случайно из-за обильно выпитой жженки, что полковник Орлов обозвал Пушкина «школьником», и Пушкин вызвал его и А. П. Алексеева на дуэль, которая благодаря усилиям Липранди не состоялась. Иной вариант этой несостоявшейся дуэли дает К. К. Данзас, по записи Анненкова. Как бы то ни было, уланский полковник Ф. Ф. Орлов в пушкиноведении — фигура известная, и просто чистой случайностью можно объяснить тот факт, что Сергей Орлов ничего не знал о нем.

Из более близких родичей нашего поэта по отцовской линии достоверно известно лишь о деде Николае Дмитриевиче, который в 1886 году в чине надворного советника был назначен в Белозерск начальником почтово-телеграфной конторы. Его сын, а стало быть, отец Сергея Орлова, Сергей Николаевич, закончил местную гимназию, а затем в Кинешме — учительскую семинарию. «Отца своего не помню,— писал поэт в автобиографической заметке «О себе»,— он умер в 1924 году. Люди, знавшие его, рассказывают, что он был строгий учитель, добрый и веселый человек, уважаемый сельчанами».

Конечно, семейное предание, рассказанное С. С. Орлову Антониной Николаевной, еще требует дополнительных изысканий. Однако и сейчас ясно, что в творчестве Сергея Орлова с семидесятых годов все сильнее звучали мотивы мужества и доблести русского воинства, мотивы национального самосознания, возросшего в борьбе с иноземными поработителями. Добавлю, что «национальное самосознание и национализм,— как писала газета «Правда»,— это разные вещи. Национальное самосознание не противоречит пролетарскому интернационализму».

О, русская земля!..

...Мы стоим, облокотившись на парапет Софийской набережной, ныне набережной Мориса Тореза, напротив Кремля. День выдался какой-то смутный, с легкой поволокой. За нашими спинами часто возникал и опадал шум автомашин, пролетавших по набережной. Но шум этот был незамечаем нами, он не мешал нам разговаривать и посматривать то на мутно-зеленую воду под нами, то на главы древних кремлевских соборов, которые, словно золотой мираж, таяли в поволоке, но не исчезали совсем, то на гранитные устои Большого Москворецкого моста, а за мостом — стеклянный, многооконный массив «России».

«Хочешь, почитаю стишок?.. — внезапно спросил Сергей.— Только сначала эпиграф: «О, русская земля, ты уже за холмами еси!..».

...Я давно заметил, что, когда Сергей читал новые стихи, голос его был каким-то особенным, с более напряженным, что ли, звучанием слова и более приметным, что ли, белозерским, северным «о».

Стихи меня взволновали — нет, не потому, что вызвали воспоминания о минувшей войне. Воспоминаний как раз и не было. Но Сергей «поймал» мгновение, в котором время зажило особой жизнью, и можно было лишь предполагать, то ли жизнью давно прошедшей, то ли будущей, то ли переживаемой вот сейчас, у гранитного парапета, у зеленоватой волны, где так безмятежно и призрачно сияли купола кремлевских соборов.

Горят на горизонте города,
Кричат дороги, пыль белей известки,
А мне не будет в жизни никогда
Спокойней чем на этом перекрестке.

Как будто в древней песне — позади
Уже Россия за холмами где-то.
И на плече моем, присев, сидит,
Как на холме, птенец, теплом
согретый.

Этот птенец врезался мне в память, не давая покоя: он помимо воли возвращал меня к картине Васнецова, к тому юному дружиннику, что лежит, раскинув руки, распластавшись, с вражеской стрелой, насквозь пробившей его железную кольчугу и его сердце. Понимаю, что Орлов хотел сказать другое, что это воздух истории пропитал и его стихи, и угарный чад набережной и что самые странные видения и ассоциации возникали в моем сознании, не разрушая, однако, а усиливая общее впечатление от его стихов. Впрочем, нет, не впечатление, поскольку одновременно, слушая своего друга, я испытывал истинное эстетическое наслаждение. Подобное наслаждение один эстетик определил просто и удивительно точно: при восприятии красоты, говорил он, мы испытываем сладостное чувство, будто знали об этом всю жизнь. Так и мне казалось, будто всю жизнь я знал эти стихи Орлова, как всю жизнь знал блоковское «На поле Куликовом», знал, когда еще не читал цикла, но все равно знал о нем и был бы безмерно удивлен, если бы такового в природе не существовало. Стихотворение Орлова должно было появиться, возникнуть, стать явью — и миражем, реальностью — и виденьем, стать чем-то похожим на эти отблески золотых куполов, что вспыхивали и пропадали в зеленоватой воде Москвы-реки.

А потом мы заспорили о стихах, что между нами случалось довольно часто.

Нельзя, нельзя так сказать: «А я один, я без оружья, стар, и даже пальцем не пошевелиться...» Любой редактор немедленно исправит: «Не пошевелить»!

Редактор — да! Но ты-то почему это говоришь?.. Послушай еще раз... Неужели ты не чувствуешь, неужели не понимаешь текст, контекст, подтекст — называй, как хочешь,— что по старинной пословице: один в поле не воин... Вот послушай. Недавно я где-то вычитал: «усталое сознание человека XX века». Не знаю почему, откуда, но вот усталость, усталость... И ни одной живой души.

А это все за лесом шла гроза,
Гром полыхал, и падали зарницы,
Слезами застилали мне глаза
Друзей погибших молодые лица,

Была душа тревогою полна,
Забытые сильней болели раны,
И вспыхивала белая стена,
Печатавшая перекрестье рамы.

На горизонте вновь стоял пожар,
Крича летели вспугнутые птицы,
А я один, я без оружья, стар,
И даже пальцем не пошевелиться...

...Что же, я сдался, я уверовал в его правоту, в его исключительное чутье слова, хотя долго еще раздумывал над странной внутренней противоречивостью этого стихотворения. Ведь война — позади, и Родина спасена, и сам поэт говорит: «А мне не будет в жизни никогда...». Почему же затаенное чувство тревоги — тревоги за Россию, которая «уже за холмами еси». Конечно, это «просто» сон, но в чем все-таки дело?.. Так раздумывал я, пока уже глазами не вчитался в текст стихотворения и некоторых других, написанных позднее, и пока не уразумел, что история под пером Орлова берет свое начало из будущего, а не из прошлого, из того, что будет, а не из того, что было. В этом будущем поэт может сделать выбор, а значит, остается свободным.

Интересно, что свои размышления о будущем, которое идет навстречу настоящему, поэт выразил и в «Монологе воина с Куликова поля»:

Их четырнадцать было,
князей белозерских,
Я пятнадцатый с ними,
Вот стрелой пробитое сердце
И мое забытое имя.

«Князи Белозерски», что были «вкупе побиены суть», в исторических хрониках перечислены по именам, а вот пятнадцатый — безвестен. И этот пятнадцатый — сам поэт. Примечательно и другое: что России как державы, как нации еще нет, еще не существует, но есть огромная потенциальная сила, которая жаждет быть Россией, есть «земель вековая обида», есть готовность положить жизни свои на алтарь отечества, как говорили в старину.

Как орда Мамая качнется,
Как мы ляжем костьми на поле, —
Так Россия с нас и начнется
И вовек не кончится боле.

Обобщить сказанное я хотел бы словами Сергея Орлова, который не раз вступал в полемику с расхожим мнением, что мужество, бывшее нормой поведения на войне, не годится для мирной жизни, что здесь нужно другое мужество, другое понимание долга и ответственности. Нет, резко и определенно возражал поэт: «...высоты духа, на которых стояла Советская Отчизна в годы войны, стали яснее видны на расстоянии. Долг поэзии — запечатлеть их для всех суших и будущих людей».